
Михаил Исаев
Дом у озера

Михаил Исаев

Дом у озера

«Автор»
2026

Исаев М.

Дом у озера / М. Исаев — «Автор», 2026

Семеро выехали к безымянному озеру в Белоярском лесу — туда, где на картах немые пятна лесного фонда, а в устах деревень умолчание. Молния осветила небо без грозы — и на другом берегу, где ничего не было, стоял дом. Дом был очень велик: окна всякий раз пересчитывались по-новому, мебель стояла спинками к центру. Он принял их, как принимают гостей, которых ждали. Через неделю из семерых осталась одна — та, кому дано докучливое право помнить.Из показаний следствия: Северцев был найден в тридцати километрах от озера, со сломанною ногою. Озеро нашли. Палатки нашли. Дом не нашли — ни строения, ни руин, ни доски, ни гвоздя. Дело закрыли. Две группы, разнесённые годами, — и две памяти, один почерк.Дом не охотится — дом зовёт: по одному, стуком дважды, вежливо. Он умеет ждать, менять длину коридоров и длину столетий — и умеет писать руками тех, кто у него бывал. Книга, что вы держите, кончается не концом, а письмом: прочитать её — значит принять доставку.Читать — не безопаснее, чем ехать.

© Исаев М., 2026
© Автор, 2026

Михаил Исаев
Дом у озера

ДОМ У ОЗЕРА
роман

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЛОГ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ЭПИЛОГ
ПОСЛЕДНЯЯ ТЕТРАДЬ
ЛИСТ, ПРИШИТЫЙ В КОНЕЦ

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Бумаги дошли до меня без сопроводительного слова: конверт без имени, без штемпеля, без возвратного адреса, — и лежал он в почтовом ящике того дома, где я живу, меж квитанцией за газ и счётом за свет, как лежит вещь, которой в ящике быть не могло. В конверте были тетради и листы, переплетённые не человеческою рукою; переплёт был цел, а бумаги внутри стояли не по порядку, и порядок этот я, сколько ни старался, восстановить не мог: не потому, что не хватало страниц, а потому, что при каждом пересмотре страницы стояли по-иному.

Я не знаю, кто сложил эту пачку, и не берусь знать: в этом деле знать и звать суть глаголы одного спряжения. Я переложил бумаги в том порядке, в каком положил их передо мною дом, — ибо иного порядка не обнаружилось; и предупреждаю читающего: если он отыщет в этой книге несоответствие, пусть поверит несоответствию, а не порядку. Порядок — вещь составителя. Несоответствие — вещь дома.

Бумаги застали меня готовыми — как застают готовой заправленную постель. Я не помню, чтобы работал над ними; я помню, что они лежали на столе раскрытые, и я читал, и чтение было уже начато прежде меня и будет продолжено после, — ибо то, что написано в этой книге, читается вслух, хотя бы и беззвучно. Пусть читающий запомнит это с первой страницы: читать — не безопаснее, чем ехать.

ПРОЛОГ

То, о чём я взялся поведать, я не рассказывал никому — и, полагаю, не рассказал бы и теперь, если бы не убеждение, медленно зревшее во мне все эти два года, что молчание есть соучастие. Слова мои будут неполны; я предупреждаю об этом заранее, ибо язык, на котором

человечество описывало свои ужасы, создан для ужасов человеческих, а то, что открылось мне в ту ночь, не принадлежало человеку и, смею думать, не принадлежало и времени. Пусть читатель, коему доведётся держать эти строки, не ждёт от них связности: я помню всё — и не могу собрать ничего, ибо то, что отпустило меня на рассвете, забрало с собою не тело моё, но способность сличать одно с другим.

Начать следует издалека — с вечера на озере; ибо всё, что случилось потом, имело, как я убеждён ныне, своё начало не в доме, а в том безоблачном небе, что показало нам его.

Мы выехали в Белоярский лес — в те земли, что на картах означены скупыми словами «лесной фонд, проезд ограничен», а в устах жителей окрестных деревень не означены вовсе, ибо о них не говорят — так не говорят о доме, в котором умерла чужая старуха, либо говорят, но шёпотом и вполоборота. Нас было шестеро. Мы поставили палатки на песчаном береге безымянного озера, вода которого была тёмною и странным образом неподвижною, — неподвижною так, что казалось: не ветер не тревожит её, а она сама не дозволяет ветру себя тревожить. Вечер был хорош. Горел костёр, звучали молодые голоса, вино было дешёвое и вкусное, и никто из нас — ни один, клянусь той последней правдой, что во мне осталась, — не подумал ничего дурного о мире, и это было последнее стекло, сквозь которое мы видели мир мирным.

Молния пришла без грозы.

Небо стояло высокое, чистое, звёздное; ни тучи, ни ветра, ни того грозового вздоха, что идёт перед разрядом, — и вдруг озеро, лес, поляна и лица мои товарищей на одно мгновение сделались белыми и беззвучно-мертвыми, как в свете фотографической вспышки. Молния не гремела вовсе. Она осветила — и погасла, и в этом освещении, длившемся не более дыхания, я увидел на другом береге озера, над чёрною чертою леса, строение, которого там не было.

Я уверен в этом так же, как уверен в собственном имени. Я сидел лицом к воде весь вечер; берег напротив я изучил до последнего корня, ибо свет костра доставал недалеко, и глаза мои в темноте искали себе работу. Там не было ничего. Чёрная стена леса, и всё.

Молния повторилась — вторая, столь же безгласная, — и строение стояло там по-прежнему: большое, тёмное, косокрылое, с множеством окон, и стояло оно не там, где стоят дома, — у дорог, у воды, у жилья, — а посреди леса, как стоит то, чему принадлежит лес, а не лес тому.

— Смотрите, — сказала она. Из всех нас она первая, и голос её был полон не страха, но того острого, нелепого, юного любопытства, которое и есть, как я теперь разумею, самая опасная из человеческих страстей. — Смотрите, там дом!

Никто из нас не сказал самого простого — «здесь не было никакого дома». Никто не удивился. Я помню это безошибочно, ибо ныне приписываю это не нашей глупости, но дому: он пришёл к нам уже и тогда, в первое своё освещение, наложил на глаза наши свою мерку, и мы приняли её, как принимают воздух — не замечая. Нам сделалось легко, почти радостно, как бывает, когда найдено то, что искал, сам того не зная.

Мы перебрались через озеро там, где была переправа, — и вот что я должен сказать, хотя это и пусто: пути, коим мы шли, утром я отыскать не сумел, и те, кто искал после меня, не отыскали тоже.

Дом был очень велик.

Это я произношу с затруднением, ибо «велик» — слово о мире человеческом, а величина этого строения была иного рода. Оно имело три этажа над землёю и, как я узнал потом, скольких этажей под нею — не ведаю; крылья его расходились от центрального корпуса в обе стороны, и число окон в нём превышало то число, которое я мог пересчитать с холодным терпением, — я пробовал считать и сбивался, и не в том было дело, что окон было много, а в том, что считая их, я всякий раз получал их разное количество, и между двумя счётами не мог указать, который из них был ложен. Парадная дверь стояла перед нами непритворённой. Внутри были залы с потолками, уходившими в темноту, галереи, лестницы, о коих не скажешь, куда они ведут, ибо каждый раз вели они в иную сторону, и комнаты, многие, полные того

особого, обстоятельного, терпеливого мрака, какой бывает лишь в домах, давно не живых и не мёртвых. Мебель стояла спинками к центру — во всех залах, без исключенья, как будто всё в этом доме было выставлено лицом к чему-то, что должно было встать посреди каждой комнаты, но ещё не встало.

Мы смеялись в этом доме. Мы раскладывали по залам спальники, мы находили на кухне посуду — чистую, тёплую, будто кем-то вынутую из горячей воды, — и это не показалось нам странным, и в этом отсутствии удивления я вижу ныне самую чудовищную из всех улик. Дом принял нас, как принимают гостей, которых ждали; и спать мы остались в нём — не в палатках, что остались по ту сторону озера, — и спали, полагаю, так, как спят в чужой ладони.

Проснулся я не от звука. Проснулся я от того, что в доме сменилось дыхание: до полуночи он дышал, как дышит всякая постройка, неровно, по-ветерному, — а теперь дышал ровно, глубоко, с какою-то сытой, почти дремотной внимательностью, как дышит зверь, слышащий в норе движение. Я не разбудил никого; спавшие лежали неподвижно — слишком неподвижно, как мне теперь кажется, — и я поднялся во тьму верхнего этажа, следуя не желанию, но зову: некая, не поддающаяся наречению сила влекла меня наверх с той спокойной неотвратимостью, с какою вода несёт щепу к водостоку.

Там, наверху, я увидел её.

Я откладывал это признание и откладывал, ибо нет у меня слов, к коим оно могло бы прилечь; но промедление сделало бы лживым всё свидетельство. Увиденное мною носило детский облик. Носило — и не более: как надевают платье. Всё в этом зримом образе было взято у детей — рост, косы, босые ноги; и всё было в нём употреблено наизнанку: суставы гнулись в стороны, которых не существует у порождения человека, конечности чертили в воздухе петли, невозможные для живого, и всё же она бежала — и бежала быстрее меня, и бежала весело, и хихикала голосами, которых было двое, и звук её смеха исходил не из неё, но проходил сквозь неё, как сквозь ставни проходит ветер, — изнутри самого дома.

Оно гналось за мною по коридорам, длина которых не поддавалась счёту, и говорило со мною.

— Ты мой, — говорило оно.

Не кричало — говорило; и в этой ласковости, в этой безошибочной, домашней, почти хозяйской ласковости таилось больше сокрушительного ужаса, чем во всей ярости мира: ибо злоба ищет оправдания и ведёт счёт обидам, а это не искало ничего. Оно принадлежало ко мне так, как корню принадлежит дерево, и бегство моё было в некотором смысле бегством тени от тела. Позади меня, в трёх шагах, неотступно, оно звало меня — и голос его был колыбельною песнью, которую поют перед тем, как взять.

Я не стану перечислять черт его лика; не из трусости, но потому, что перечисление придало бы ему меру, какой он не заслуживал. Скажу одно: там, где у людей полагается орган речи, у него находились двое — и один не раскрывался никогда, и от этого молчания его становилось страшнее, нежели от всех слов второго.

Я бежал. Двери раскрывались предо мною навстречу с тихим, почти почтительным щелчком — как встают при входе старшего, — и захлопывались позади, и за спиною лопалось, трещало, отходило дерево под тем, что резало его; и в этом звуке не было ни скрежета, ни ярости — лишь рабочий, домашний, хозяйский ход, как ходит по доске хорошо налаженная пила. Дом не помогал ей. Дом был ею: я понял это, когда, свернув в боковой проход, я врезался в человека — в девушку из нашей компании, в одну из нас, своих, — и она, вцепившись в мою куртку обеими руками, закричала мне в лицо не «спаси», не «помогите», но:

— Он бежит за мной! Он бежит за мной!

Ибо в доме этом каждый видел преследователем другого; таков был его способ, такова была его вежливость: он не похищал — он подносил нас друг к другу, как подносят зеркало к зеркалу, и в глубине этих отражений уже стояло оно.

Она увидела его. Она увидела его над моим плечом — и пальцы её разжались по одному, и лицо её перестроилось, как перестраивается дом, у которого подмыт фундамент: страх сошёл с него, как вода, и на его место, ровно и беззвучно, встало знание.

— Это ты, — сказала она. — Это ты. Всю ночь. Ты бежал за мной, а я бежала к тебе за помощью.

И то, что пришло за нами обоими, не бросилось. Оно поправилось — как поправляются перед делом, которое умеют, — и одна из конечностей его, растущих, как я ныне помню, из середины его тела, легла ей на плечо с тою ласковостью, с какою ложится рука подруги, — и звук, раздавшийся затем, был короток, влажен и окончателен. Голова её отделилась и покатилась по половицам, набирая ход, как катятся от толчка яблоки; и тварь гонялась за нею короткими шажками, хихикая обоими голосами, и ловила её, и подносила к тому из своих органов речи, что не раскрывался, — и глядела в её глаза, как в зеркала, с нежностью, перед которой разум мой и доселе не находит приюта.

Потом ей сделалось скучно.

В этом нет преувеличения и нет метафоры — я свидетельствую словами, какими могу: она забросила её, как забрасывают игрушку, отыгравшую своё. Голова девушки, описав в воздухе дугу, ушла в глубину коридора, — и оттуда, из тьмы, ей ответили. Из темноты боковых проёмов, из-под лестниц, из зевов тёмных дверей, кои я считал пустыми, двинулось ещё — многое, различное, не смею и не хочу исчислять их черт, — и сошлось вокруг упавшей с той неторопливой заботливостью, с какой сходятся дети вокруг подарка. И они играли. Играли с нею, как играют с мячом, — перекатывая, подбрасывая, передавая из конечностей в конечности, из тьмы в тьму, — и сопровождали эту игру звуками, которые я назвал бы смехом, если бы смех был обязан быть звуком радости; то было веселье полное, взахлёб, бездонное, и в нём не было ни капли злобы, как нет её в игре щенков, — и от этой беззлобности волосы мои поседели там, где стоял я, за один час.

— Отдай! — крикнула моя преследовательница, обернувшись на мгновение, — капризно, по-детски, с тем неотложным требованием, с каким требуют своё у товарищей по игре. — Отдай, она моя! Я первая нашла!

Ей отдали. Лениво, с неохотою, как отдают уставшие от спора дети; и она поймала голову на лету одной из конечностей, растущих из середины тела, — и поднесла к тому рту, что не раскрывался, — и посмотрела мне в глаза через глаза её, — и сказала, с нежностью, которую не пересказать:

— Видишь? Все хотят играть тем, что моё. Потому и дом мой. Все, кто в нём, — играют моими игрушками. Я даю. Я щедрая.

Остальное тело оставили стоять. Оно простояло без неё ещё несколько секунд — вежливо, как стоят гости, которым объявили, что они более не нужны, но уходить ещё рано, — и тогда лёгкий толчок, почти любезность, уложил его.

Мне не помнить, как оказалась в руке моей глыба старой кладки; помню лишь, что лежала она удобно, чересчур удобно, так, как лежит в ладони орудие, подложенное заранее, — и я не берусь утверждать, чьей милостью я дозволен был взять её. Окно стояло в трёх шагах; за окном лежала ночь — подлинная ночь, с луною, с кронами, с ветром, — и я ударил в стекло со всею силою отчаяния, и оно лопнуло честно, по-человечески, тысячей осколков, и звук этот был лучшим звуком моей жизни: дешёвый, звонкий, обыкновенный звук разбитого окна, после которого ещё можно звать людей и ждать людей.

Я влетел в проём и полетел.

В полёте — не обернувшись; это было последнее правило, коего я держался до конца, — я услышал за спиною голос, тихий, почти нежный, из разбитого зева окна, где зубцы оставшегося стекла обрамляли её, как ворот праздничного платья:

— Ты мой. Я подожду. Я хорошо умею ждать. Я тебя уже видела. Ты придёшь.

Потом была земля — корни, шишки, хвоя, — и хруст, что я принял было за ветку, покуда боль не выстроилась в очередь: нога, рёбра, нечто внутри, весьма важное. Я полз к востоку — не прочь от дома, ибо не было на свете «прочь» от него, но к тому единственному, что не принадлежало ему: к серой полосе рассвета, равнодушной, ничьей, честной. Поле, по которому я полз, стягивалось подо мною, как стягивают простыню; на границе света и тени, у самых живых деревьев, она вышла из дому — босая, неторопливая, как идут провожать, — и остановилась ровно там, где оканчивалась тень, и не шагнула далее ни на шаг: ей было нельзя, и она ведала, что нельзя, и спокойствие её при этом знании свело внутренности мои судорогою.

— Все вы приходите, — говорила она вслед, ласково, всеми голосами своими. — Я подожду.

К рассвету я дополз. К людям — через день.

Обо всём, что было после, я скажу коротко, ибо это единственная часть моей истории, которая поддаётся проверке, — и именно она не выдержала её. Меня нашли в тридцати километрах от озера, со сломанною ногою, с порезами от стекла, в одежде, ношенной, по суждению врачей, не одни сутки. Озеро нашли — оно было, и стояло то же, темное и неподвижное; палатки наши стояли на берегу, нетронутые, с вещами, с недопитым вином, с телефонами, лежащими так, как лежат вещи брошенных спешно мест, — но только брошены они были, по-видимому, в ту же секунду, когда мы их оставили, ибо хлеб в палатке не зачерствел, и всё в них было в том самом порядке, в каком мы ушли. Дом не нашли. Пять дней, с собаками, с вертолётом, со свежими следами, которых не было, — обшарили лес от озера до дальних дорог; нашли бы кабана, нашли бы грибника, нашли бы хоть одну доску, один гвоздь, один угол фундамента — не нашли ничего. Ни строения, ни руин его, ни дорожек, ни заросших просек. И девушку не нашли. Ни её, ни других моих товарищей — ни тела, ни одежды, ни единой вещи; они не исчезли — они не были там никогда, в том смысле, в каком вещи бывают где-нибудь, и земле, что лежала под тем домом, не было ничего известно о нас.

Следователи были со мною вежливы. Я видел в глазах их то, что вижу теперь во всех глазах, — милосердное подозрение человека, слушающего больного, которого жаль и которого нельзя отпускать в мир. Дело закрыли. Официальный вывод гласил, что исчезновение моих спутников требует дальнейшего розыска, а показания мои «противоречат собранным обстоятельствам и доказательствам в их отсутствие» — то есть ничего не подтверждают; и не будет непочтительною осторожностью с моей стороны сказать, что таково же было отношение ко всему, что я говорил после, — ко всем моим словам, до единого. Дом не оставил после себя ни улик, ни свидетелей, ни следов на земле — только одного человека со сломанною ногою и разрушенною памятью, которому никто не верит и которого, в сущности, не за что наказать: этого в практике человеческих судов не предусмотрено.

Ибо я поныне не знаю, что погубило её: она умерла, уверенная, что убивает её друг, и я никогда — никогда — не узнаю, услышала ли она в последний миг, кто бежал за нею в самом деле. Дом забрал это знание с собою — вместе с прочими моими товарищами, вместе со своим молчаливым счётом, который он ведёт, полагаю, столетиями, и который никто ещё не обрывал. Одно лишь добавлю, и замолчу навсегда: то, что сошлось играть вокруг её головы, не вышло из-под дома. Оно жило там — как живут в старом жилище жильцы, которых хозяин не считает нужным называть; и в веселье их не было ни ярости, ни голода — лишь игра, игра, игра, — и мне кажется иногда, во тьме моей лечебной палаты, что это и есть самый верный признак: не зол мир, что открылся мне в ту ночь, — он играет, и мы для него игрушки, которых он ещё не наигрался.

А позади, на поляне, ночь на короткое время сделалась пуста — и в этой пустоте дом встал, тихо, без звука, так, как стоят деревья: как будто всегда. Как будто человек, ползущий у кромки поля, лишь приснился ему — и приснился неточно, ибо в том, что дом запомнил, человек всё-таки обернулся в полёте; и всё-таки взглянул ему в лицо; и всё-таки был записан.

Дом ждал, когда подправят.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ТЕТРАДИ ВЕРЫ
ГЛАВА ПЕРВАЯ

Из записных тетрадей Веры Королёвой

Я веду эти записи, не зная, для кого; иные записывают для потомков, иные — для себя, чтобы не потерять нить. Я записываю для того, чтобы слова мои имели хотя бы ту обязанность, которой лишено молчание: сказать. Пусть читающий не ждёт от меня порядка, ибо порядок есть свойство мира, а мир этот, как я научилась понимать, сделан не из порядка. И пусть не ждёт, что я поведу повествование с той ночи на озере, — я поведу его с более простого и, потому, более страшного места: с вечера, когда всё ещё можно было остановить одним «нет».

Брат мой, Максим, пришёл за мной к почте в конце рабочего дня. Я должна записать это обстоятельство, ибо оно было последним в цепи: не будь я на почте, я не взошла бы с ним в машину, не села бы меж Ани и рюкзаков и не сделалась бы тем, чем сделалась, — единственной из нас, кому дано это докучливое, нелёгкое, бессмысленное по всем человеческим мерам право: помнить.

Мы живём в Снежинске-Карьерском — городе, которого нет на товарных знаках и о котором не пишут путеводители, ибо писать о нём нечего: завод, отстающий от времени на один оборот колеса, вокзал, огороды, школа. От него на север лежит глухота, и в глухоте этой — места, что на картах означены немыми пятнами лесного фонда. Туда они и собирались: на то безымянное озеро в Белоярском лесу, о котором Максим говорил с таким упоением, что я, слушая, поймала себя на странном чувстве — будто описывает он не место, но ожидание места, что-то заготовленное заранее, ожидавшее его же, как терпеливое ожидает спящего.

Я отказалась. Максим не стал спорить; он только посмотрел на меня — и в этом взгляде, который я вспомнила потом, много позже, сквозь все те ночи, было не раздражение, но что-то иное, чему я не подобрала имени: будто он смотрел не на меня, а через меня, на что-то, что стояло за моим плечом и что он уже видел.

— Не порти праздник, — сказал он. — Всё уже куплено.

И это слово — «куплено» — я записываю не потому, что оно важно, а потому, что оно до сих пор звучит. Ныне я понимаю, что в этой фразе не было ни шутки, ни заботы; в ней была та спокойная покорность обстоятельству, с какой человек говорит о долге, сделанном за него.

Но я поехала. Я должна записать и это — без оправданий, ибо оправдания затемнили бы суть: Аня уговорила меня за один вечер. Она пришла ко мне за неделю и сказала, что хочет увидеть озеро до дождей — только увидеть, хотя бы одним глазом, прежде чем вода потемнеет; и в голосе её было такое простое, молодое желание, что я согласилась прежде, чем успела подумать. Если в той моей поездке и была вина, то она в этом согласии, данном за секунду, — и я ношу её доныне.

Мы выехали в пятницу, в девятом часу вечера. Нас было семеро: Максим с Лизой, Санёк, Дэн и Жора — близнецы, что держались, как два зеркала, поставленные друг против друга, — Аня и я. О машине говорить не буду; скажу лишь, что среди нас не было никого, кто считал бы себя суеверным, и что мы принадлежали к тому поколению, для которого ночь есть отсутствие освещения, лес — отсутствие города, а смерть — статистика, приписанная чужим пожилым.

Дорогу от Снежинска до Зареченска я помню ещё по-человечески: фонари, огороды, чей-то телевизор за открытым окном. За Зареченском человеческое иссякло.

И вот что я должна записать с максимальной точностью, ибо точность моя здесь — всё, что осталось от той ночи, помимо страха: с этих пор мы ехали по земле, которой, как я теперь убеждена, не надлежало существовать в том виде, в каком она являлась нам. Лес, обнимавший дорогу с обеих сторон, был правилен на вид — ель, сосна, тьма, — и в самой этой правильности таилось нечто оскорбительное для разума, как оскорбителен для разума воск, изображающий мёртвую руку: всё на месте, всё должное, но нет в нём того, чем живое живо. Деревья стояли так, как стоят фигуры на шахматной доске: верно, и до последнего дюйма расставлены кем-то, кто знал, что мы будем ехать этой дорогой.

Максим гнал машину и был счастлив. Я записываю и это, ибо от счастья его — простого, молодого, человеческого — ныне веет той же стужей, что от рукава зимнего пальто, снятого с покойника: счастье было настоящим, но это было счастье уже понесённых, как бывает радость у людей, что идут к казни и радуются последнему тёплому дню, не ведая, почему так радостно.

Аня сидела рядом со мной и молчала. Аня вообще была из тех, кто говорит мало, но я записываю её молчание, потому что в машине оно имело свойство, которого я прежде не замечала: вокруг неё становилось слышно меньше. Не тише — меньше. Так, что я, вспоминая, не могу назвать ни одного звука, что был в машине от её стороны, — а ведь там был её рюкзак, её дыхание, её молчание, сидевшее рядом.

Аня сама была из тех краёв — хоть и не знала об этом ничего, кроме бабкиного имени. Бабку её, оставшуюся сиротой в младенчестве у чужих в Зареченске, звали по-местному, и умерла она, когда Ане минуло шесть лет, — но успела передать ей одну привычку: не спать в полнолуние, подложив под щёку ладонь. «Зачем так?» — спросила я её однажды, ещё в городе. «Так учила. Бабка говорила: ладонь слышит то, чего уши не берут», — отвечала Аня, и голос её при этих словах выравнивался, как выравнивается вода в ведре, которое несут. Я не спросила больше ничего. Мне не пришло в голову спросить, от чего уберегает ладонь та, кто её учила.

За тридцать вёрст до места Аня заговорила.

До того она молчала так долго, что я успела позабыть о ней, как забывают о тихой воде, пока она не подступит к брёвнам; и голос её, когда он пришёл, был не громче того, что говорит вода, — и сказал он не мне, и не Дэну, и не Максиму. Она сказала это в стекло, сама себе, так говорят о погоде или о старой боли:

— Странный.

— Что странный? — спросила я, потому что спросить было проще, чем поверить, что вопрос нужен.

— Лес, — отвечала она и не отвернулась от окна. Голос у неё был ровный, но я слышала, что ровность эта делается усилием, как ровно становится дыхание у того, кто идёт в темноте и старается не бежать. — Он не такой, как по дороге на Байдаиху. Там просто лес, и всё. А тут… — она поёжилась, не договорив, и провела пальцами по запотевшему стеклу, словно хотела стереть то, что снаружи. — У меня зубы стынут, Вера. Всю спину тянет, как перед грозой. Мне кажется, если я сейчас отвернусь от окна — оно там стоит и ждёт, чтобы я отвернулась. Глупость, да?

— Глупость, — сказала я.

— Знаю, — отозвалась она и не отвернулась до самого озера.

Я не рассмеялась. Я должна признать это честно, ибо в том и состояло, быть может, единственное моё человеческое достоинство той ночи: я не рассмеялась, но и не поверила. Я повернулась к своему окну и стала смотреть в темноту — и, глядя, поймала себя на мысли, от которой поныне не могу отделаться: что темнота за стеклом смотрела не на дорогу, а на нас, с тем терпеливым вниманием, с каким смотрят на вещи, зашедшие слишком далеко от дома.

Навигатор отказался от нас между одиннадцатью и полуночью. Он не выключился — он отказался: карта под пальцами Дэна дрогнула и растаяла в пустое полотно, и голос машины, объявлявший повороты, замолк на полуслове, и мы, не сговариваясь, не сказали об этом ничего, — что и было, как я понимаю ныне, первой нашей общей уступкой.

— Всё, дальше я, — сказал Максим и сбросил скорость.

Там, где надлежало свернуть, сворачивать было нельзя — была лишь грунтовая гать, размытая дождями, уходящая в черноту меж двух стен леса; но мы свернули в неё, и никто не спросил, откуда Максим знает, что сворачивать нужно именно здесь. Знание его не имело источника. Я записываю это без обиняков: за тридцать минут до того, как он повернул руль, он уже знал об этом повороте так, как не знал никто из нас, — и я убеждена, что не он поворачивал машину, но поворот, до поры дремавший в земле, вёл машину его руками.

Где-то за спиной, очень далеко, донёсся гудок поезда — и осёкся, не доиграв, как обрывают радио. Я обернулась. Позади не было ни насыпи, ни огней, ни просвета; была тьма, и гудок, кажется, был последним человеческим звуком, что пришёл за нами следом — и не догнал.

Мы приехали к озеру в полночь.

Озеро было странным сверх всякого перечня причин, и это была лишь первая из них: вода стояла неподвижно — не гладкая, не застывшая, но несокрушимо покойная, так, что казалось: не ветер не тревожит её, а она сама не дозволяет тревоги. Мы разожгли костёр. Мы пили дешёвое вино, смеялись, Санёк падал в песок, Лиза пела что-то без слов; всё было молодо, тепло и человечно — и я прошу читающего поверить мне на слово, что я записываю эти часы не для умиления, а потому, что не записать их нельзя: это было последнее человеческое время, и оно совершилось в четверти версты от того, чего человечность не выносит.

Костёр в тот вечер кормил нас разговором, и разговор был человеческий, свой — ибо так бывает только у тех, кому недолго. Санёк рассказывал, как они с Жорой в детстве прожили одну зиму, отвечая друг другу именем, — и что мать так и не выучила, который из них кого сдавал в школе; «Одна душа на двоих — потому и ходим по очереди», — подтвердил Жора, и все мы смеялись, и я смеялась, и не запомнила ни слов, ни смеха, а запомнила то, как весело было. Дэн вынул отцовский компас и положил его на колено — «взял, чтобы не соврать с югом», сказал он; отец его, как мы знали, ходил с этим компасом по тайге тридцать лет и вернулся с ним же.

Лиза пела без слов — и сказала, что песня эта «не выучена, а услышана»: бабка её пела так же, в деревне, которой нет на картах. Аня молчала, и молчание её в тот вечер было не задумчивым, а местным: так молчит человек, вернувшийся на место, где когда-то жили, — молчит, слушая, что скажут стены. Я записываю этот вечер не потому, что он важен, а потому, что он был последний: всё человеческое, что мы сказали друг другу о себе, — уместилось в него целиком, и дом не отнял у нас и этого.

Молния осветила другой берег без единой тучи на небе.

Дважды. Я запомнила обе, ибо обе были беззвучны: небо стояло высокое, чистое, звёздное, ни облачка, ни грозового вздоха, — и вдруг мир делался белым и мёртвым, как в свете фотографической вспышки, и на другом берегу, над чёрной чертой леса, стояло строение.

Я сидела лицом к воде весь вечер. Другой берег я изучила до последнего корня — так изучают темноту, когда костёр слаб и глаза ищут себе работу. Там не было ничего.

Потом — было.

Большое, тёмное, косокрылое, с несчётными окнами, оно стояло посреди леса так, как стоит то, чему лес принадлежит, а не лес ему. И — я записываю это, зная, как звучат такие признания, — никто из нас не сказал самого простого: «здесь не было дома». Не сказал никто. Нам сделалось легко, почти радостно, как бывает, когда найдено то, что искал, сам не зная, что искал; и это общее, безмолвное согласие памяти нашей принять невозможное — есть,

по моему убеждению, самая чудовищная улика из всех, что остались мне на руках, ибо вещи подобного рода не действуют на разум силой, но действуют согласием.

— Смотрите, — сказала Лиза, и голос её не дрожал. — Там дом! Пойдём посмотрим.

И мы пошли — все семеро, — оставив на берегу палатки, вещи, телефоны, последнюю человеческую осмотрительность, — потому что идти хотелось. Потому что идти к дому было хорошо. Я помню своё собственное влечение той минуты: не любопытство, не весёлость — знание, как помнит путь собака, приведённая однажды, — и ноги шли, и тело радовалось, и в глубине меня, там, где человек хранит свои последние доводы против ночи, не раздалось ни единого слова.

Озеро мы перешли по гати, которой утром — я проверила — уже не было.

Дом был очень велик; но я откладываю его описание, ибо всякое описание есть мера, а мерить его — всё равно что пядью мерить береговую линию древнего моря. Скажу только то, что помню телом: дверь стояла перед нами непритворённая, и внутри пахло не плесенью заброшенности, но теплом вытопленной горницы и свежею посудой, будто в доме только что был ужин для многих и все разошлись по комнатам, и ждут лишь нас. Мебель во всех залах стояла спинками к центру — лицом к пустоте посреди пола, как будто дом был выставлен к чему-то, что должно было встать посреди каждой комнаты и ещё не встало.

Аня вошла последней. На пороге она обернулась — я видела её лицо в отражении тёмного стекла, бледное, осмысленное до предела, — и сказала тихо, не нам:

— Я его уже видела. Давно. Во сне.

И вошла. И дверь за нами не закрылась — она закрылась в себя, беззвучно, с тем последним, спокойным щелчком, с каким запирают сундук, о котором знают, что ключ больше никому не понадобится.

Я записываю всё это теперь, задним числом, из ночи, где нет имён, — и спрашиваю себя, зачем мне писать про дверь, про посуду, про молнию без грозы. А затем, что если когда-нибудь эти тетради найдёт человек, у которого ещё есть шанс, — пусть он запомнит не то, что было в доме. Пусть он запомнит то, как легко мы шли к нему. Ибо горе не в чудовище; горе в том, что дорога к нему была освещена изнутри нас самих, и мы шли по ней весело, по-хозяйски, как идут по дороге к собственному дому.

Мы спали в нём той ночью. И сон наш был глубоким — слишком глубоким для людей, заночевавших в чужом строении посреди леса, без вещей, без телефонов, без единого огня.

Так спят в ладони.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Из записных тетрадей Веры Королёвой (продолжение)

Есть ночь, которую я не рассказывала никому целиком, — и не потому, что боялась слов, а потому, что слова, коими она располагает, принадлежат дню. Я попробую всё же. Пусть читающий помнит, что я пишу это из лечебной тишины, спустя много месяцев, и что память моя не собирает, а раскладывает, — и раскладывает, как раскладывают на столе вещи убитого: по одной, не смея соединить.

Итак — ночь.

Ужина не было. Записываю это первым, потому что это было первым нарушением. В доме, чей запах обещал нам недавний ужин для многих, мы не нашли ни очага горящего, ни печи тёплой, ни стола, накрытого для кого-либо; посуда стояла чистая, но холодная, и тепло её, обещанное запахом, было теплом не сегодня — теплом воспоминания о тепле, как бывает у вещей, которым велено пахнуть едой, а есть не велено. Мы не удивились и этому. Я перечисляю наши не-удивления по порядку, ибо ныне вижу: они и были планом дома, начертанным не чернилами, а самою нашею покорностью.

Мы разложили спальники в зале на втором этаже — большом, с камином, в котором горел огонь. Я пишу это и не могу писать спокойно: в камине горел огонь, и никто из нас

его не разжигал. Мы вошли — а он уже горел, уютный, домашний, с готовыми углями, как будто кто-то, услышав наши шаги, поспешил приготовиться к нашему приходу, — и никто из нас не спросил, кто его зажёг. Максим сказал: «Ну, смотри-ка, печка-то живая», — и мы рассмеялись, и смех был лёгким, и в этой лёгкости я ныне вижу руку, раскладывавшую нас по комнатам, как раскладывают фигуры перед началом.

Спать легли от безделья, а не от сна. Я помню, как хотела остаться сидеть у огня — была во мне та простая, звериная мудрость, что велит не спать в чужом логове, — но сон пришёл к нам не так, как приходят сны к людям; он пришёл, как приходит прилив: мы не уснули — нас залило. Я лежала и глядела в потолок, и потолок был тёмен и высок, и между двумя моими мыслями не было ничего — а потом ничего уже не было и между мной и утром, и это отсутствие, это гладкое, бесшовное небытие, я поныне считаю самым бесчестным из всего, что сделал со мною дом: он украл у меня даже право бороться.

И сон в ту ночь был не наш. Я засыпала с мыслью, что спать нельзя, — и уснула в ту же секунду, в какой кончилась мысль. Дом обходил нас по кругу, как обходят спящих хозяева, запоминая, на каком месте лёг кто из нас, — и в этом обходе не было ни злобы, ни милосердия; так запоминает список.

Проснулась я не от звука.

Проснулась я от того, что в доме сменилось дыхание. До полуночи дом дышал, как дышит всякая постройка, неровно, по-ветерному, — а теперь дышал ровно, глубоко, сыто, с тою дремотной внимательностью, с какою дышит зверь, слышащий в норе движение. Лежала я в темноте и слушала, и понимала — тем знанием, что не приходит через уши, — что слушают теперь уже не мы.

Я села. Другие спали.

Но спали они так, как я уже пыталась описать: слишком неподвижно. Не как спят люди — люди дышат, вздрагивают, поворачиваются, ищут плечом плечо; мои товарищи лежали с тою окончательностью позы, с какою лежат вещи, поставленные на место. И лица их были неправильно покойны — покойны, как покоен воск, и от этой восковой покойности у меня похолодели руки. Я не решалась подойти и потрогать. Я и не потрогала — запишите и это: до самого конца той ночи я не потрогала ни одного из них, и ныне, когда их всех недостаёт, я не знаю, чего мне в себе страшнее — того, что они были живы, или того, что я никогда не проверила.

И — я записываю это, ибо не записать нельзя, — в этот час я подняла глаза в дверные проёмы зала. В каждом проёме стояло. Не человек, не тень: стояло, и стоящих было много — больше, чем проёмов, — и они не наступали и не звали. Они смотрели, как смотрят дети в дверях чужого праздника: не смея войти, потому что их не позвали по имени, и не уходя, потому что имя их никто не скажет.

Одна, ближе всех к огню, провела пальцем по горлу — неторопливо, вежливо, так показывают на карте место, где лежит город. И я поняла жест не глазами; жест означал «здесь». Потом, уже не глядя на меня, она тем же пальцем поправила прядь волос — жестом, каким поправляют и не своё: «не сейчас». Я закрыла глаза. И сон накрыл меня вторично, как накрывает волна человека, который перестал выгребать.

Максима не было.

Спальное место его лежало раскрытым — не разбитым, не брошенным в спешке, а именно раскрытым, как раскрывают книгу на середине и оставляют: здесь был кто-то, и кто-то вышел, и выйдет обратно. Рядом, на полу, стояли его кроссовки — шнурки аккуратно заправлены внутрь, как заправляет их сама хозяйка, убирая обувь в прихожей. Максим не заправлял шнурков никогда. Я знаю это по семнадцати годам жизни с ним в одном дворе.

И надо всем этим — я должна записать, ибо это было страшнее пропажи, — надо всем этим стояла тишина особого рода: не пустоты, но вежливости. Так молчат в комнате, где

умер человек, когда не хотят разбудить лежащего рядом. Так молчат за стеной больничных коридоров. Тишина эта была занята — заполнена до краёв кем-то, кто слушал, как слушаю я.

Я окликнула его вполголоса. Один раз. Второй.

И тогда — я не знаю, как назвать это иначе, — дом ответил. Не голосом; эхом, которое не было эхом: мой собственный оклик вернулся ко мне из глубины коридора за дверью — но вернулся теплее моего собственного голоса, мягче, и с той интонацией, с какою отвечают не на зов, а на просьбу, которую давно ждали и охотно исполнят. Секунду я стояла в этом ответе. Потом у меня хрустнуло что-то в глубине головы, не кость — что-то из тех опор, на которых человек держит своё «я — здесь», — и я сделала то единственное, что сделала правильно за всю ночь: я не пошла на голос.

Я села у огня до утра.

Что было в те часы между — не спрашивайте; не потому, что не помню, а потому, что помню неопровержимо и не могу о том говорить по-человечески. Скажу одно, и лишь однажды: около того часа, когда тьма за окнами перестаёт быть чёрной и начинает быть серой, мимо двери зала кто-то прошёл. Босыми ногами. Шаги были лёгкие, детские, неторопливые — так идут в собственном доме, где не запирают дверей, — и мимо двери прошёл не звук шагов, но их смысл: я поняла их так, как понимают фразу без слов. И в этом смысле не было ни угрозы, ни спешки. Было ведение гостя к выходу — терпеливое, неутомимое, дожидливое, — как ведут приживишийся скот в загон, как ведут воду в желоб.

Я не крикнула. Я не разбудила никого. И в этом моём молчании — я пишу его сюда, под этим светом, под присмотром людей в белом, — в этом молчании, может быть, и лежит всё моё вчерашнее завтрашнее: дом не брал тех, кто кричит. Дом брал тех, кто молчит с ним заодно.

Утро наступило — и было самым чудовищным из всего, что я видела прежде и после: оно было добрым.

Солнце стояло в окнах по-домашнему, палило половицы теплом; где-то в трубах голосило ветрено, по-обычному; дым из камина вёл себя как дым. Лиза проснулась, потянулась, сказала: «Какой хлебный воздух» — и слова её были здоровы, и голос был здоров, и лицо её проснулось человеческим, — и только когда я пересчитала нас, глядя на спальники, счёт не сошёлся. Шесть. Нас должно было быть семь.

— Максим? — спросила я.

И услышала собственный голос — и голос мой был спокоен, ровен, домогосподарственен, и от собственной интонации мне стало тошно: так спрашивают, когда забыли, куда положили шапку. Ибо я спросила не как спрашивают о пропавшем человеке. Я спросила так, как спрашивают о человеке, который вышел по делам минуту назад, — и это спокойствие не было моим; оно стояло во мне, как стоит в комнате чей-то запах.

— Вышел, — сказал Санёк, не открывая глаз.

— Когда? — спросила я. И это был правильный вопрос, единственный правильный вопрос той минуты — и я испугалась его больше, чем всего, что могла бы услышать в ответ.

Санёк открыл глаза. Он не был удивлён, не был сонным, не был напуган; лицо его было лицом человека, к которому обратились с вопросом, ответ на который он держит наготове, как держат сдачу с отмеренной заранее мелочи.

— Не знаю, — сказал он. И помолчал. И добавил тем же ровным, вежливым голосом: — Сказал — к машине, за грузом. Уже вернётся.

— Санёк, — сказала я медленно. — Мы легли спать. Все семеро. Ты помнишь, как он вставал? Скрипнула ли дверь? Слышал ли ты, как он проходил?

Он смотрел на меня — и я видела, как он ищет: честно, старательно, по-человечески ищет в себе воспоминание, которого там не было. Ищет — и не находит — и не может не найти в это поверить, ибо в мире, где человек вышел, кто-то же должен был его слышать.

И тогда лицо его сделало то, чего я боялась более всего: оно не испугалось. Оно согласилось с дырой, как соглашаются с погодой.

— Он сказал — за грузом, — повторил Санёк. И закрыл глаза, и сон его сомкнулся над ним снова — тот же гладкий, налитой сон.

Я осталась стоять посреди зала с камином, и огонь в камине был тёплый, и пол был тёплый, и кроссовки Максима стояли у его спальника шнурками внутрь, аккуратно, по-хозяйски, — и я понимала теперь хуже, чем понимала ночью: вопрос «когда он вышел?» не имел ответа не потому, что мы спали. Спать — дело человеческое, и сон человеческий оставляет швы: кто-то просыпается от скрипа, кто-то мёрзнет, кто-то ходит пить. Ночью не было ни одного шва. И если Максим выходил — он выходил из ночи, в которой у семерых живых людей не было ни одного пробуждения, ни одного движения, ни одного вздоха, — а такого не бывает в домах, где живут люди.

Такое бывает в чревах. И в ладонях.

В то же утро, покуда я сидела у огня, братья рассказали друг другу одинаковый сон: Санёк видел, как Жора бежит за ним по коридору, — Жора видел, как за ним бежит Санёк. Рассказали не удивляясь, один после другого, одними словами; и в одновременности их не было сговора, ибо отражения не сговариваются. Никто из нас не сказал самого простого — что в одном доме не может идти охота двух на двух; и в этом несказанном я вижу ныне ту же мерку, какую наложил дом на глаза наши в первый вечер.

Пишу теперь о том, что видела часом позже, ибо перечитывая, вижу в этом деле руку дому — и руку тонкую.

Санёк и Жора были близнецами не только по крови. С детства, в одной комнате, они играли в игру, имени не имевшую: один закрывал глаза, другой делал движение — и повторить надлежало не движение, но намерение, в нём заключённое. Играли в это только вдвоём и никогда ни с кем; Аня говорила, что братьям было весело за четверых, — и я записываю её слова, потому что ныне они звучат иначе, чем звучали.

Часом позже я нашла их в галерее второго этажа. Они стояли один против другого, на обоих концах, лицом к лицу, — и были заняты игрою: то один, то другой поднимал руку, и рука второго отвечала первым, без промедления, без размышления, как отвечает отражение. Два зеркала, поставленные лицом к лицу, дают коридор: бесконечный, выстланный одинаковыми лицами, без исхода. Я смотрела вдоль этого коридора — и в глубине его, между двумя одними и теми же лицами, стояло то, что не было ни тем, ни другим; стояло ровно посередине, как стоит то, чему коридор принадлежит.

— Смотрите, — сказала я им. — Хватит.

Братья обернулись разом — с той же скоростью, с тем же наклоном головы, — и я не могла указать, который из двух обернулся первым; и не в том было дело, что они спешили, а в том, что одновременность их не была сговором. Отражения не сговариваются. И — я записываю это последним, ибо в этом всё: они обернулись не на меня. Они обернулись на то, что стояло в глубине их коридора, — и я, стоявшая в дверях галереи, была в том коридоре лишь ещё одним отражением, поставленным лицом к лицу с ними; и в глубине его, между тремя одинаковыми лицами, то же самое стояло ровно посередине.

Максим не вернулся ни к обеду, ни к закату; к закату мы уже кричали от окрестных кочек до стен дома, и голос наш возвращался к нам без эха, сухой, оборванный.

К вечеру мы перестали кричать. Не от усталости — голоса были; просто перестали, разом, как перестают искать вещь, о которой вспомнили, что лежит она в другом кармане. Не забыли — изъяли: так изымают слово из языка, не оставив в памяти дыры.

А наутро второго дня Санёк поднялся первым и сказал — ровно, как говорят о деле, назначенном заранее:

— Он же к машине ходил. Пойдём посмотрим — может, ждёт там.

И мы пошли, — все шестеро, — и никто из нас не спросил, зачем идти к машине, если человек ушёл к ней сутки назад и не вернулся; вопрос этот пришёл ко мне на середине гати, одна, среди шести молчащих спин, и я спросила у себя его, как спрашивают у стены, — и не получила ответа, ибо ответ был: потому что туда шли.

Машина стояла там, где оставлена, — на кромке леса, где кончалась гать. Я увидела её издали и не узнала. Не потому, что её не было, — потому, что она стояла неправильно: капот её был вскрыт, как вскрывают грудь, и все четыре двери стояли нараспашку, и в них, в сиденья, в коврики, в карманы дверей, было набросано, набито, уложено с озлобленной, дотошной, почти любовной тщательностью — хвоя, шишки, земля, прутья, сухие листья; машина была набита лесом, как набивают чучело опилками, — и на ветровом стекле, изнутри, из салона, во всю его ширину была выведена пальцами по слою испарины и пыли одна-единственная линия — длинная, кривоватая, детская, — как выводят на запотевшем окне первый выученный знак.

Что это был за знак — я не разглядела. Я отталкивала эту мысль, как отталкивают от себя падающую на лицо воду.

Мотор не ответил. Дэн вертел ключ до хрипа стартера; Жора открыл капот и долго стоял над ним молча, и лицо его, когда он поднял его, я не опишу, — он не сказал «сломано», он не сказал ничего, и это молчание было точнее всяких слов: в машинном нутре не было ни одного сорванного провода, ни одной снятой детали. Всё было на месте. Всё было переведено — провода вели не туда, куда вели прежде, шланги чьи-то к чему-то чужому, — так, что не поломка это была, а перекройка, и сделал её не тот, кто хотел, чтобы мы не уехали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.